



Дизайн автора

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Рассказ

До перестройки я был типичным совковским интеллигентишкой – вяло фрондерствовал, жил вполне, поскольку был глубоко убежден, что система, в которой нам довелось родиться и умереть, – она навсегда. От ощущения, что от тебя ничего не зависит, что государственный молох перемелет тебя в муку, стоит только залупить, я как большинство моих духовных корешей, просто коптил небо. Изумительная вертикаль советской власти десятилетиями крепила в нас инфантилизм и нахлебничество. Мы знали свое будущее до гробовой доски и положительность подобного знания заключалась в том, что мы не испытывали никакого страха перед завтрашним днем. Ведь он должен был быть таким, как сегодняшний. А сегодня у нас всегда было. И еще одно важное обстоятельство – власть интеллигенцию не любила, во всяком случае недолюбливала, и это было архиважно для нашего духовного самоутверждения, для объединения по признаку духовного родства. Мы были элитой в своей стране. Какие козни ни творила нам власть, мы всегда были на сцене, в свете рампы, а зал всегда был полон публики, жаждущей услышать про себя из наших уст. Хрущевство, брежневство, начало горбачевства – золотые времена; мы даже и не подозревали, насколько мы счастливы. Литературные, выставочные скандалы, постановления партии и правительства о состоянии дел в нашей культуре. Кого-то выслали, кого-то посадили, что-то закрыли, кого-то вернули и реабилитировали. Сколько внимания! Сколько ненависти, которая та же любовь! Мы были тростинкой, через которую погруженный в омут народ дышал нездешним воздухом свободы. Вы спросите меня, зачем народу, тем более русскому, какая-то там свобода, которой он никогда, представьте себе НИ-КО-ГДА не имел? Зачем человеку то, чем он никогда не пользовался и с чем не знает, как обращаться? А ни за чем! Видимо, просто так устроен человек – хочет того, чего у него нет. Думаю, мыслители, которых занимал этот вопрос, были правы, говоря, что свобода – коренное состояние человека. Но человека цивилизованного, добавил бы я, то есть хранящего в генах все этапы своей несвободы. Человека, для которого свобода – это сознательный выбор. Нас же бросили в свободу, как Муму в озеро. Помните анекдот про Муму? «Сдается мне Герасим, что ты чего-то недоговариваешь». Мы захлебнулись и пошли на дно. Мы не умеем плавать. То есть – абсолютное большинство. Известно, что талант бизнесмена, предпринимателя выпадает на один процент активного населения. Свобода, господа хорошие, была дана лишь этому одному проценту. Это и есть буржуазная свобода, с чем вас и поздравляю. Мы же стремились совсем к другой свободе – романтической, которая, как я теперь понимаю, невозможна по определению. И достижима только индивидуально – в медитации, в творчестве, в любви. И не раз и навсегда – а на время. Пусть даже многократно, но всегда точно. Бах! – поймел и потерял. Да, свобода – это как прыжок блохи, по кривой, с неизбежным приземлением. Иногда весьма небезопасным.

Однако моя беззаботная жизнь переломилась еще раньше, до перестройки. Я развелся, а за связь с одной первокурсницей меня выгнали из театрального института, где я преподавал историю искусств. Таким образом подспудная мечта моей жизни осуществилась, притом неожиданно и без всяких на то усилий с моей стороны – я стал безработным, то есть вольным художником. Оставалось только выяснить, чем я буду заниматься, так как ни преподавание, ни статьи в газетах на ближайшие годы мне не светили. Спустя полгода я порвал с первокурсницей, поскольку

жениться на ней не собирался, и тогда же решил – на излете творческого возраста профессионально заняться живописью и самому испробовать тот эстетический эталон, к которому я призывал в своих писаниях разношерстную братию художников. Да и вправду казалось – коль скоро я все так замечательно понимаю про других, неужто сам не потяну. Вспоминались примеры поздних стартов – Гогена например, или Анри Руссо. Это была авантюра, оправданная лишь в случае мощного духовного зова. Тогда мне казалось, что я позван и призван.

О, до самой смерти буду помнить те сладкие часы, что я провел у прилавков художественных магазинов, готовясь к своему живописному подвигу. Под стеклом пузатились тюбики с масляной краской, материалом, который мне предстояло освоить, было вдосталь уже хорошо знакомой мне гуаши и акварели, почти совсем не просматривалась дефицитная по тем временам темпера, впрочем, кисточек из свинячьей щетины, козьей шерсти и лошадиного хвоста, в отличие от колонковых и беличьих, хватало, как и растворителей – льняное масло, даммарный лак, пинен... господи, до сих пор эти слова музыкой звучат во мне, как и названия самих красок – сиена, капут мортум, тиюиндиго, церулеум, волконскоит, берлинская лазурь, – за некоторыми, довольно редкими гостями в наших магазинах, я охотился, как Набоков за своими бабочками... Не забыть дивный запах живописной художественности, источаемый этими материалами, как и картинами современных холстомарателей, висящими на стенах для продажи. Как просто, казалось мне, пойти дальше, чем эти равнодушные профи, увидеть глубже. Юношеское чувство собственной, пусть еще и не явленной гениальности. Абсолютное счастье заблуждения.

Я купил себе большой мольберт с жестяным дном и алюминиевыми ногами – как сладко будет выдвигать их, закреплять алюминиевыми же винтами, одновременно отмечая в остром угле, оставшемся для периферийного зрения, всплески листвы, уже окрашенной осенью, и жадно втягивая ноздрями этой острый влажный воздух как бы завершающегося пира природы, она же сама жизнь...

И вот, экипированный, как Амундсен, явился я в Москву. В пустой московской квартире – ее хозяйева, знакомые моих знакомых, работали в торгпредстве в Праге – стоял дух немалой по тем временам зажиточности, и беззащитность каждой вещи, умноженной в своей ценности товарным дефицитом той поры, как бы демонстрировала мне, вторгшемуся чужаку, безграничное доверие ее владельцев. В доверии этом, похоже, не было особого расчета, разве лишь знак элитной солидарности, преклонения перед избранным – художник из Ленинграда, искусствовед... А может, сказала тут и моя принадлежность к Театральному институту, об исторжении из которого добрые хозяйева едва ли получили информацию от моих добрых знакомых. Контрапунктом – увы, наше сознание небескорыстно и вечно находится в паутине причинно-следственных связей, как бы в тени кармы, – подпольной мышью поскребывалась мыслишка, что я приглашен на роль зрителя, точнее присматривателя. Ну да не все ли равно.

Однако что же делать начинающему художнику пусть даже и в первопрестольной? Я бы постеснялся раскрыть мольберт на виду у толпы. На случай патологической аматерной застенчивости у меня были ключи от дачи в поселке Семхоз, что всего лишь в одной остановке электрички от Загорска, то бишь Троице-Сергиевой Лавры, основанной преподобным Сергием Радонежским, о котором в ту еще безбожную пору почти не вспоминали. Кстати, повод поразиться феноменом памяти. Память – она помнит все, абсолютно все, но она служанка конкретного времени, ангажирована, вернее, детерминирована им, и выдает на поверхность только причитающееся моменту.

Итак, в прекрасное осеннее утро я проснулся на даче, один, как любимый писатель моей юности Юрий Казаков на своей даче в знаменитом Абрамцево, где бывали далеко не безразличные мне Гоголь, Тургенев, Врубель, Серов... Казаков умрет совсем скоро, в ноябре 1982, но я об этом узнаю позже, а тогда, в конце октября, каждый раз, проезжая мимо Абрамцево, буду возвращаться к одной и той же навязчивой идее: почему бы мне не сойти и не познакомиться с автором когда-то ошеломившего меня рассказа «Адам и Ева», по мотивам которого я и решил теперь разыграть дальнейшую свою судьбу. Никогда прежде у меня не было столь явной потребности в этой встрече. Будто каким-то непостижимым образом я чувствовал, что Юрий Казаков уходит. За окном, залитом розовым светом ослабевшего солнца, в легком инее сверкал мой первый живописный пейзаж – уже обнажившийся кустарник у забора, сквозивший против света

тончайшей вязью, серый, посеребренный штакетник, две избы за ним – одна боком ко мне, другая, что поглубже, – наискось, три полуоблетевших деревца, похилившийся сарайчик... Все это, слегка присыпанное первым, скорее случайно выпавшим снежком, разно освещенное и расцвеченное, разно удаленное от меня, представляло собой некое перламутровое видение, Абсолют, дивный образ, как бы подарок Всевышнего, – оставалось только бережно принять таковой из рук в руки, не пролив, не разбив, не рассыпав, то бишь перенести на холст, или, в моем случае, – на загрунтованный под масло картон. Видение было таким сильным, что вызывало боль, от которой нужно было немедленно освободиться, как, да простится мне физиологичность сравнения, проснувшись, мы с отрядным вздохом освобождаем набухший мочевой пузырь.

Я потому столь подробно остановился на этом пейзаже, что он по сю пору у меня на стене, и представляется мне единственной работой, пробившей плотные слои моей бездарности и вышедшей на орбиту, где царит вечная красота и никто не умирает. Конечно же, и этот мой единственный пейзаж убог и никчем, но несколько его линий, два-три мазка, десятков нервных зигзагов, пропаханных деревянным кончиком кисти в масляном слое, свидетельствуют о том, как сотрясал клетку посредственности мой так и почивший в ней гений.

В Семхозе я прожил два месяца, время от времени наезжая в Москву, чтобы пополнить запасы кистей, красок и грунтованных картонов, а заодно пошататься по галереям. Я любил эти поездки в электричках, набитых людьми, к которым я испытывал нечто среднее по пафосу между стихами Пастернака «На утренних поездках», где он едва преодолевает к пассажирам свое обожанье, и «Москвой – Петушками» Венички Ерофеева, где они смотрят на него круглыми прозрачными глазами, ни за что не продадут, но ничего и не купят. Я смотрел на пассажиров, как на людей, которые молчат о том же самом, о чем молчу я. Это и значило принадлежать к своему народу. Я тогда еще не бывал за границей, но потом, когда стану бывать, как раз и пойму эту простую вещь.

Интересное дело – раз от разу московские галереи, что бы в них ни выставлялось, привораживали меня все больше и больше. Я словно становился профессионалом и теперь воспринимал картины не как обычный потребитель пищи для глаз, а как истец, заглядывающий под испод, под красочные слои, наложенные один на другой цветами радуги. Мне стало нравиться все, что прежде вызывало усмешку, и чем дальше, тем очевиднее становилась для меня собственная несостоятельность. Я как бы успел привзлететь над землей на своих слабых, как у курицы, крыльях. Но и этой нептичьей высоты хватило, чтобы увидеть, что путь, который я собирался пройти, гораздо длиннее, чем я думал, точнее, он не имеет конца... Мышь перед горой. Гора, родившая мышь. Нет, тогда, в тот месяц я еще не ерничал в свой адрес, и невежество мое было могучим побудителем к действию. Однако я непростительно забегаю вперед. В тот день, когда я писал маслом свою первую картину, мой гений был жив, и я был счастлив, когда через два часа передо мной дымился готовый картон, полный моих высоких и чистых вожелений

Да и не таким уж я был олухом царя небесного – думаю, что теоретически я был подкован почище иного выпускника Академии художеств. Я проштудировал кучу всяких школ изобразительного искусства, я изучал секреты мастерства классиков живописи, я прочел тома с заметками художников о разных художественных приемах; особенно меня поразили наблюдения одного неизвестного мне мариниста – на десятке страниц он подробнейшим образом, с детализацией, на которую способен разве что пациент психушки, рассказывал, как формируется волна на водной поверхности, как она движется, к берегу, как освещена сверху, сбоку и у основания, и что, собственно, с точки зрения цветовой гаммы (палитры) представляет собой феномен воды. Я вдруг обнаружил, что любая достойная внимания вещь – будь то карандашный рисунок, акварель или масло, несет на себе печать этого параноидально пристального рассматривания людей и окружающих их предметов в стихии воздуха, земли и воды. Я вдруг понял, что художники совсем иначе видят, чем мы, простые смертные. Вещный, материальный мир вдруг распался передо мной на невесомые составляющие – цвет и свет, – и, становясь перед мольбертом, я чувствовал себя Творцом, пересоздающим (воссоздающим) мир из этих едва ли материальных субстанций. Невозможно было запомнить все щедро поведанные мне открытия, а до кое-чего я дошел и сам, – и каждый раз это было как чудо, когда всего лишь мазок верно найденной краски превращал мертвый кусок холста в сверкающее жизнью пространство, а одна точная карандашная линия оживляла телесную плоть. Теперь в музеях я стал тут и там наткаться на примеры необыкновенной, непосильной для меня изобразительной дерзости мастеров далекого

прошлого, и даже решил, что в искусстве нет прошлого, то есть нет однонаправленного, как у времени, движения, где настоящее всегда предпочтительней, поскольку как бы возглавляет процесс... Нет, большое искусство – все оказалось для меня в настоящем, это был как бы парад красоты под музыку восхищения жизнью, дарованной теперь вот и мне.

В окрестностях против ожидания нашлось не так уж много видов, заслуживающих, по моему тогдашнему мнению, быть запечатленными, – мне было нужно, как, скажем, Шишкину или Куинджи, много воздуха и простора, чтобы расположить на нем сосны, дубы или березы, речку и облака. Здесь же все заканчивалось вторым планом, красота же отдельно взятого – будь то освещенное крыльцо, черно-бурый испод елки возле дома, рыжий полушубок игл на мокром скате крыши, пол веранды, засыпанный яблоками, – эта красота в ту пору оставалась за гранью моих эстетических поползновений

В вечном голоде по полноценному пейзажу я рыскал по улочкам, останавливаясь посредине при виде лужи, в которой отражалось небо, или, замороженный светом в тупике, за которым начиналась золотая россыпь осенних берез, принимался писать это золото, а то в сумрачной еловой аллее натянулся на пучок поперечных солнечных лучей, упавших на молоденькую елочку, горевшую, как малахит... Поздно вечером, когда деревья превращались в темные нависающие глыбы, я выходил на дорогу, где свет редких ламп на столбах выхватывал из тьмы то ветку, то сероватую сеть полублестевшей кроны, а то всего лишь обозначал на аспидно-черном посеребренный абрис ствола, – и я старался запомнить все это. Становясь в освещенный круг на дороге, я набрасывал в альбомчике схему увиденного и обозначал названия цветов, чтобы потом, на даче, все это написать по памяти и подсказке. И оказывалось, что я действительно все помню, и по памяти получалось даже крепче, цельнее, выразительнее, потому что она была избирательной, и лишнее, постороннее, ненужное ею решительно отменялось.

В доме стоял запах яблок – внизу и на втором этаже, где лучшие сорта – антоновка, ранет, семиретка – занимали не только пол и подоконники, но и две кровати. В доме был водопровод, газ в газовых баллонах и индивидуальное паровое отопление – по вечерам я подтапливал титан, гнавший по батареям горячую воду. Тепло обволакивало меня, как божья благодать. Рачительность хозяев угадывалась во всем – они даже успели закатать в трехлитровые банки весь свой огородный сбор, а в спальне, где я не жил, между стеной и платяным шкафом в двадцатилитровой бутылки толстого стекла под огромной деревянной, обернутой тряпицей пробкой, зрело что-то вроде домашнего плодово-ягодного вина. Это был целый ладный мир полюболюбивших друг друга вещей и предметов, в котором было хорошо и покойно, и хотя он молчал, разве что потрескивая иногда в ночи стенами, половицами, или роняя яблоко с подоконника второго этажа, что, завершив дробный перекал своих выпуклостей, замирало прямо надо мной – в этом молчании действительно была благодать, то есть присутствие Бога. Я не знаю, что это был за Бог, как до сих пор не знаю, какой я веры, но это был точно Бог – в ту пору он сопровождал каждое мое действие и везде обнаруживал по отношению ко мне свою милость. А это могло означать только одно – он одобрял мой выбор. Более того – он верил в меня. Видимо, он был со мной до тех пор, пока я не совершил свой третий живописный подвиг, написав вид Троице-Сергиевой лавры, безусловно, удавшийся мне, яркий и нарядный, со сверкающим небом и золотыми луковками, купающимися в нем. Да, я любил и люблю русскую церковь, но – лишь снаружи, а не внутри. Внутри, по моему печальному наблюдению, в ней нет Бога, там правит бал толстый зычный бородатый дядька с кадилом, которым он неизвестно что обкуривает – разве водится нечисть в храме божьем? Русское православное богослужение лишено аристократизма, имеет дело лишь с толпой, и превращает тебя в часть этой толпы. Сказано ведь в Библии – найдите Царство Божие в себе самом! Зачем мне для встречи с Богом толпа, поп, да и сама церковь? Сколько раз я встречался с ним один на один – то на подмосковных полустанках, где только что отгремела уходящая электричка, и вечерняя тишина глядела на меня сквозь мокрую осеннюю листву, то по утрам, когда, выйдя на крыльцо и глядя на куст распустившихся за ночь зимних астр, я ощущал его присутствие по горячему приливу восторга к горлу и глазам.

Тем же вечером при искусственном свете я поставил перед собой вазу с астрами и принялся их писать. Эти небольшие белые цветки, по две дюжины на каждом стебле, сверкали как созвездия на ночном небосводе, как неведомые галактики Вселенной, и я в каком-то наваждении наносил их на грунтованный картон, перемежая узкими темно-зелеными листиками, без поправок и мук по

поводу того, какую краску положить тут и там. Через час наваждение кончилось, и я очнулся. Но букет был уже написан.

Все эти три моих лучшие вещи – в гостиной на стене, вернее – на двух стенах. Если бы такое начало имело продолжение, через пару лет я бы, пожалуй, стал выставяться, затем вступил бы в союз художников и, Бог знает, был бы сейчас признанным и известным, мэтром лирического жанра, заняв нишу где-нибудь между Пластовым и Мыльниковым, между Тюленевым и Попковым. Но я по-прежнему никто, и этому есть целый ряд причин, которые, впрочем, едва ли меня оправдывают.

Так прошел месяц, я отошал и обрюзг, поскольку часто забывал поесть и побриться, но глаза у меня горели сумасшедшим огнем, и я был абсолютно счастлив, разве что лишь иногда испытывал беспокойный призыв моего проголодавшегося мужского естества. Голод не тетка, и как-то вечером возвращаясь электричкой из Москвы я оказался напротив девушки с книгой в руках. Как и я, она сидела у окна, только против хода поезда, и то, что она изначально еще до моего появления выбрала это наоборотное место, почему-то говорило в ее пользу. Она самозабвенно читала, взглянув на меня разве что разок, из вежливости, сосед как-никак, и она мне чем-то понравилась, тем более что не мешала себя рассматривать. Путь был неблизкий, за окнами стемнело, по стеклу струились капли дождя, набитый пассажирами вагон постепенно пустел, а мы все ехали напротив друг друга, как бы уже к одной постепенно вырисовывающейся цели. Того раза, когда девушка глянула на меня, было мне достаточно, чтобы испытать к ней симпатию, и как бы начать с нею диалог. На вид ей было лет двадцать, бесформенная спортивная куртка напрочь скрывала ее фигуру, но ноги в голубых джинсах были мне видны от коленей до ступней, и я видел, что колени у нее маленькие с ладными коленными чашечками, и такие же маленькие ступни в кроссовках, – верный признак стройности. Несколько раз она выпрямляла уставшую спину и принималась смотреть в окно, и по ее нарочитому несмотрению на меня, я понимал, что мое присутствие уже отмечено, и что если я заговорю, для нее это не будет неожиданностью. Мне всегда стоило усилий начать в такой или подобной ситуации разговор, и лишь память о том, что так уже бывало, и что я об этом обычно не жалел, в такие мгновенья поддерживала меня.

Оказалось, что она читает Мопассана – увидев мою улыбку, она даже слегка покраснела. Глаза у нее были прозрачно-зеленые, цвета неспелого крыжовника, и ее смущение по поводу темы, видимо, занимавшей ее мысли, беличьей кисточкой мазнуло меня ниже пупка. «Хороший писатель, – сказал я. – Все мы на нем выросли». «Циничный», – неожиданно сказала она. – «Скорее честный, – сказал я. – В искусстве это дается немногим». Она хотела что-то ответить, но промолчала. Мне показалось, что у нее живой ум. Выражение ее глаз мне определенно нравилось, как и большой рот – признак доброты и покладистости. Она жила совсем рядом, в Загорске, а училась в Москве, в техникуме, чтобы потом работать на телефонной станции, и, если получится, продолжать вечернюю учебу в высшем заведении, помогающем налаживать проводные и беспроводные связи всех со всеми. «А в астральную связь вы верите?» – спросил я. – «Это как?» – спросила она...

Я сказал ей, что у нее хорошее лицо и, что я хотел бы ее написать. «Вы писатель?» – спросила она. – «Я художник», – сказал я, как полпред прекрасного, которым готов немедленно делиться. – «Я еще никогда не знакомилась с художниками», – сказала она. «Ну вот, вам выпал редкий шанс», – сказал я. «Что, правда, можете меня нарисовать?» – переложив ногу на ногу, вдруг как-то непростительно доверчиво загорелась она предчувствием какого-то иного мира, который я держал наизготовку, словно смертоносную пращу. В этот миг что-то во мне дрогнуло – я почувствовал, что мне придется взять на себя больше, чем я предполагал, – столько простодушия прозвучало в ее голосе. Святая простота... То, что минуту назад представлялось мне живостью ума, теперь отдавало то ли наивностью не по годам, то ли глуповатостью, и у меня было сто шансов из ста закончить этот разговор без всяких для себя последствий. Но я этого не сделал, о чем впрочем, не жалею, хотя, по правде говоря, о многом мне стоило бы пожалеть.

На следующий день была суббота, и мы договорились, что я встречу ее на платформе в шесть вечера, потому что до шести она будет занята по дому. «Стирка, уборка?» – понимающе спросил я. – «С ребенком буду сидеть», – усмехнулась она, будто уже не раз так отвечала, заранее зная производимый эффект. «У вас есть ребенок?» – изобразил я оживление, дабы скрыть, что

огорошен. Видимо, при этом у меня вытянулось лицо. Она внимательно посмотрела на меня и не сразу ответила: «Сестренка, четыре годика. Mamочка в подоле принесла. Неизвестно от кого. Так и живем втроем. Ничего, я тоже своего отца никогда не видела». «Мда...» – мемекнул я, выражая этим то ли свое сочувствие ей, то ли осуждение злополучной мамыши, то ли свою растерянность. Сделав всего лишь шаг, я, похоже, сразу же увяз выше колен. «Тогда приезжайте с сестренкой», – сказал я, как бы перечеркивая весь свой предыдущий замысел и водружая на мольберт новый холст, на котором я принесу в жертву свое низкое начало ради своего же высокого... – «Ну что вы, – улыбнулась она. – Оленька вам не даст работать, мама придет с работы и будет с ней». – «А вас как зовут?» Ее звали Надей.

Господи, что мне, смеяться или плакать? Я нервно посмеивался, возвращаясь со станции на свою заповедную дачу. Сюжет закрутился, как часовая пружина, и дрожал от нетерпения, толкая вперед секундную, минутную и часовую стрелки. Другое дело, что в таком варианте он был мне не нужен.

Весь следующий день я промучился гамлетовским вопросом, идти или не идти на станцию, даже погадал по Ицзину – Книге перемен – и она мне выдала 45 гексаграмму, гласящую: «Все, что вы сделаете в это период, за что приметесь, завершится успешным результатом. Некая невидимая сила упрочит ваши отношения с людьми, поможет завязать новые тесные контакты, которые так или иначе станут для вас благоприятными. Былые труды и усилия будут оплачены. Вас преследует женщина, она стремится преградить вам путь, помешать осуществлению ваших намерений, вмешаться в вашу жизнь. Несмотря на это, желания ваши исполнятся». Книга перемен, конечно, сыграла в том случае свою роль, так как я в общем ей поверил. Да, моя предприимчивость будет вознаграждена. Что же касается женщины-преследовательницы, ею, безусловно, могла быть и первокурсница, от которой я сбежал, или моя бывшая жена, пока, вроде, не мешавшая мне. Как ни странно, вмешалось тут и чувство порядочности, хотя, скажем, в том, как еще совсем недавно я отлучал от себя Надю, ничего особо порядочного не было.

Итак без пяти минут шесть я уже стоял на платформе, с букетом зимних астр, побритый, надушенный, как перед лекцией в аудитории театрального, где всегда сидело несколько обычно сонных поутру юных красавиц... И состояние мое определялось тремя возможностями – остаться честным живописцем и попробовать написать портрет, пойти путем тихого исподвольного соблазнения, вовсе смыться. Но электричка уже обозначилась вдали, почти бесшумно надвинулась, как судьба, остановилась, Надя вышла, единственная, кстати говоря, на весь поезд, и вариантов у меня уже осталось всего два. Электричка тут же свистнула, тронулась с места, и нас проводил понимающим насмешливым, показалось мне, взглядом молодой помощник машиниста, стоящий у открытой в кабину двери. А пока мы шли ко мне и разговор наш переливался из пустого в порожнее, вежливый разговор ничем не интересных друг другу людей, я решил, что набросаю для виду карандашный портретик и на этом мы и закончим. Похоже, на сей раз мы друг другу не понравились. Скорее – я ей. Она была в той же куртке и в каком-то дурацком белом берете, не идущем ей, к тому же напряжена, скована, и как бы внутренне сердита на саму себя. Несколько моих вроде бы случайных прикосновений к ее рукам, не вызвали в ней ничего встречного, теплого, поддерживающего, и я, как человек мнительный, тут же решил, что я ей неприятен. Да и то – между нами было двадцать лет разницы. Сорокалетний мужчина – это далеко не каждой девице по вкусу. Только малодушие не позволило мне сказать еще на пути к даче: «Знаешь, я вижу, что у нас ничего не получится. Давай я тебя провожу назад. Прости». Или даже без всякого провожания. Извиниться и уйти. Но, черт подери, даже такой, не принятый ею, я чувствовал какую-то ответственность, или жалость. Поди разбери.

На даче было тепло, убрано, я напоил ее кофе с пряниками, покосившись на заготовленную бутылку вина, которую не стал доставать, и она села мне позировать. Я так и решил – отделаться карандашным наброском, малой, так сказать, кровью, но работа меня увлекла, и я не заметил, как прошло время. Она оказалась очень терпеливой натурщицей, решив, что даже шевелиться не следует, хотя я ей позволил. Мы с ней работали, и подводная тема (нравится – не нравится) отошла на задний план. Я не впервые в жизни рисовал портрет, но может быть – впервые как человек, считающий себя хотя бы отчасти художником. Я попросил ее смотреть на меня, чтобы поймать выражение не только ее лица, но и самой ее сути, и постепенно на бумаге стало что-то проступать. Я знал, что лицо собрано из лицевых мышц, обтянутых кожей, что одних только

мимических мышц у нас двадцать две, и что больше всего настроение определяется состоянием мышц вокруг рта и глаз, что превалирующие состояния человека постепенно формируют тот или иной расклад этих мышц, вот почему, скажем, после сорока лица становятся говорящими, то есть каждый сам отвечает за свое лицо. Но всего этого было мало, чтобы изобразить лицо, которое находилось передо мной. Лицо светилось, как обратная сторона луны, незнаемое, незнакомое, и каждая его черта была целой повестью о времени, которое прошло до того, как я ее увидел. В ее лице не было дурных наклонностей и тайных пороков, не было жадности, злости, зависти, оно, пожалуй, было добрым и светлым, но все же неопределившимся, незрелым, и я испытывал подсознательное желание усилить его линии и тени, выступив как бы сотворцом будущей судьбы, и, завершая работу, я сделал лицо, пожалуй, печальней, чем оно было на самом деле. Известно, что портретист каким-то непостижимым способом всегда повторяет в любом портрете себя самого, свой архетип, матрицу своего собственного лица. Классический пример – рисунок лица восьмидесятилетнего Да Винчи, точно вписываемый в портрет Джоконды. Вот почему у красивых лицом живописцев всегда получались красивые портретируемые: Рафаэль, Леонардо, Эль Греко, Ван Дейк, а, скажем у таких далеко не красавцев Питера Брейгеля Старшего или Рембрандта или Ван Гога – копии их самих. И еще – работая над ее портретом, я стал постепенно чувствовать власть над ней и ее зависимость от меня. Это было сладкое сильное чувство, полное каких-то полузапрещенных соблазнов, нереализованных искушений, с которыми сталкиваешься еще в детстве, а потом в подростковую пору, еще не зная, что это такое и какой выбор ты сделаешь, что позволишь себе и под какие запреты подпадешь. Это походило на то, что было со мной в семилетнем возрасте, когда я открывал для самого себя свое тело, его входы и выходы, его разные наощупь поверхности, и отклик этих гладких поверхностей на свое или чужое прикосновение, а что было не под силу одному, то передоверялось мальчику из соседней по лестничной площадке квартиры, его звали Валера Перунов; сколько имен и фамилий тех, с кем я когда-то встречался, прошли мимо моей памяти, забылись навсегда, а его почему-то помню. Он был реальным искушением, выбором, моей гомосексуальной угрозой, помню, как закрывшись в ванной, мы сводили вместе свои членики, как сабельки или мечи, не зная как еще применить это слишком пока детское оружие, не догадываясь о возможностях, которые были у нас, а только испытывая зуд, зов пробуждающейся природы естества. И слава богу, что не догадывались, знай, скажем, этот сосед Валерка больше, чем я, или будь он на несколько лет старше и опытней, и вполне допускаю, что я был бы искушен и соблазнен и познан орально или анально – в ту пору эта недоступная моему взгляду дырочка весьма занимала меня, даря смутные сладкие ощущения-грезы... И слава богу, что я не искусился, и что через десять лет с особями противоположного пола попробую воссоздать то, что грезилось и испытывалось в минуты самозабвенных до изнеможения мастурбаций. Интерес же к анусу угас, и хотя мне не раз попадались любительницы быть познанными через него, я пусть и исполнял их прихоти и капризы, но не скажу, что испытывал при этом какие-то дополнительные, прихотливые ощущения. Все равно, что кошке лезть в мышиную норку. Опять же по тому поводу у меня есть несколько не слишком эстетичных переживаний, которые, случись они в более нежном возрасте, наверняка надломили бы мои в общем-то здоровые поползновения на этой бескрайней, но небезопасной ниве.

Но я отвлекся. Итак, власть над ее лицом постепенно обретала смутные эротические очертания. Как тут не вспомнить другой мой опыт, уже с девочкой – сколько нам было лет – девять? десять? – мы играли с лицами друг дружки, причем, по очереди отдаваясь этим тактильным ласкам. О, этот зуд в кончиках пальцев, которыми я вел по ее губам, бровям, закрывающимся под моим прикосновением векам. Какой там зуд – музыка! Скорее всего Брамс, вторая часть из Второй симфонии, адажио, та-татааа – та-тата, вверх и вниз, вдох и выдох. Кажется, это было в какой-то детской больнице, наши кровати стояли рядом, касаясь металлическими спинками. Она была наголо острижена и походила на мальчика. Не помню, как ее звали. Просто бесполой ангел. И вот что интересно – точно помню, что мы не целовались, это даже в голову нам не приходило. А жаль. Впервые я поцеловался с девушкой в семнадцатилетнем возрасте. Помню свое разочарование. К тому времени неистовая тяга ко всему женскому была столь необозримой, или, скорее, необоримой, что сулила всяческие чудеса. Они бы случились, ей богу случились бы, будь первые мои наставницы и учительницы постарше и поопытнее меня. Но это все были мои неискушенные сверстницы, такие же озабоченные, как я, и такие же бездарные. С той же больничной девочкой мы каждый день недели две, пока я лежал там уже и не помню с какой болезнью, кажется с желтухой, каждый день творили совместную музыку ласк.

Так вот и я теперь в какой-то миг поймал себя на том, что более прихотливым образом, но по сути занимаюсь тем же самым – ласкаю Надино лицо, опрокинутое на белую простыню бумаги, фаллическим кончиком карандаша.

Было около одиннадцати, когда она сказала: «Все, мне пора. Последняя электричка через полчаса». «Хорошо, – сказал я, – я тебя провожу». – «Зачем вам? Потом возвращаться. Поздно уже. Я сама дойду». – «Нет уж», – сказал я, вставая и прикрывая портрет чистым листом бумаги. Надя проводила мой жест глазами:– «Покажете, что нарисовали?» – «Завтра, – сказал я. – Ты ведь завтра приедешь?» – «Нет, завтра я не смогу» – «Ну, на неделе?» – «Не знаю», – неуверенно сказала она, словно раздумывая, стоит ли продолжать столь сомнительное знакомство. Видимо, я ее разочаровал. И прикосновение к прекрасному оказалось унылым сидением в очереди перед врачебным кабинетом.

Мы вышли на крыльцо. Стояла тьма. Вокруг свежо и сильно пахло октябрьской холодной прелью листы и земли. Возле забора, чуть меченные оставленным на веранде светом, мерцали звездочки зимних астр. Я вдруг почувствовал, что хочу быть один, и что проводы ее до станции – это тяжелая, никчемная обуза. Может, по этой причине я всю дорогу молчал, сославшись на то, что после творческого сеанса чувствую себя опустошенным. К станции я уже довел ее на автопилоте и стоял, разве что не пританцовывая от нетерпения поскорее сбегать ее освещенному нутру вагона, надышанного аж от самой Москвы. Однако электричка так и не пришла, и только тогда я выяснил у кассирши, что последний поезд уже неделю как отменен.

С этой кассиршей у меня еще будет конфуз, когда, положив на поддон окошечка тогдашних пять рублей, я увижу в следующий момент, как язык сквозняка слизнет их куда-то в нутро ее каморки, а сама кассирша лишь еще через миг, как бы в третьей фазе посмотрит на меня через стекло, в ответ на мою просьбу о билете до Москвы, молча, глазами, ожидая денег. Мне не удастся ей доказать, что они где-то там – возле нее, под ней, и я выложу еще пять рублей. Я попрошу ее все же поискать улетевшую голубком пятерку, да и пересчитать приход, который должен на пять рублей превышать положенный, но на следующий день она мне, естественно, ответит, что денег не нашлось и приход не превышен.

Но вернемся к Наде. Ее растерянность была столь полной, а отчаяние столь беспредельным, что я рассмеялся. Помню свой смех – он был легкий, катарсисный, он был почти радостный, он был предвкушающий, смех совсем другого человека, смех не того, каким я был еще несколько минут назад. Всего-то и делов было, что позвонить домой, благо телефон в доме имелся, позвонить и сказать, что приедет утром, на первой, второй, в крайнем случае, на третьей, восьмичасовой электричке. Ночевать? Ну, конечно, есть, где ночевать. Какие тут могут быть разговоры.

И вот я вел ее обратно, как демон-искуситель, как злодей, как маньяк-убийца, задумавший ритуальное жертвоприношение во имя своей похоти, прикинувшейся творческим началом (актом). Да, начало явно давало о себе знать, но отнюдь не творческое. Не знаю, догадывалась ли она, с кем рядом идет. Я же развеселился, рассказывал анекдоты. Более того, в тот миг я как бы увидел себя во всей своей обнаженности, как перед судом божьим, увидел, что мой художественный выбор продиктован единственно желанием занять нишу, в которой запретное перестает быть запретным, а становится как бы разрешенным, нишу, в которой грешить можно без конца и себе во благо и без ожидания возмездия. Вот что такое быть художником, подумал я про себя, в тот миг, – это быть падшим ангелом, и служить собственной тьме, простирающейся ниже твоего пупка.

Но это только в тот миг я все так увидел, а больше, наверное, не видел никогда, потому что выбор был уже сделан, и я знал, что буду готов платить за него до своего смертного часа. Прожить в том, что христианство назвало грехом, но прожить интересно, было для меня важнее пресной безгрешности. Я вдруг понял, что мои творческие потуги – это всего лишь голый половой инстинкт, и не будь на свете Фрейда с его ЛИБИДО и теорией сублимации, я бы сам, без него, в тот момент открыл для себя этот закон, эту взаимосвязь. Я вдруг понял, что художники, все, кто имеет дело с телесной плотью, с воплощением и перевоплощением, уже созданы быть такими, – это просто обделенные, сексуально ущербные люди. И ничего другого здесь нет. Вот такое открытие сделал я тогда, когда вел мою жертву к себе в логово зверя.

К моей чести соблазнителя, я ни взглядом, ни жестом не обмишурился, строил из себя радушного хозяина, показал, где и как помыться, где вода теплая, где холодная, вот мыло, паста, мочалка. Пусть сама обиходит свое молодое тело мне на потребу. В шкафу хозяев в спальне я нашел ей чистое белье, выдал свою чистую майку взамен ночной сорочки, постелил в той же спальне и мужественно, красиво, как в совковском кино, или в голливудском, что во многом почти то же самое, ушел к себе на веранду холостяковать.

Я прождал ровно пятнадцать минут, опасаясь, что если больше, – она заснет, вошел, как был, в одних плавках, откинул полог одеяла и со словами «я там чертовски замерз, на этой веранде» лег рядом. Она не метнулась от меня, не шарахнулась, не завизжала от испуга. Она только повернулась на бок, отодвинулась лицом к стене и сказала: «Обещайте, что вы меня не тронете». «Я и не собирался», – весело сказал я, почувствовав в ее голосе такую непререкаемость, что по спине у меня пробежали мурашки. Но это был только миг. Бог как бы приоткрыл на миг занавес в будущее, показав, что меня ждет. Но можно было сделать вид, что в этот момент ты, как та кассирша на станции, просто смотрел в другую сторону, не успел поднять глаза. А когда поднял, уже в третьей фазе, никакого будущего не было, а лишь настоящее, явленное тебе затылком, шеей, плечами, где моя майка заменяла снятый лифчик... В постели стоял ее молодой запах. Свежий грибной запах молодой самки, смешанный с отрешенным запахом шкафа, откуда я доставал простыни, отчего в этой смеси было что-то неожиданно сиротское.

Да, во время проскальзывания в постель, я уже обнаружил, что Надя в трусиках, на ощупь простых, трикотажных, далеко не нарядных, и простота этих невыгодных трусиков возбуждала меня больше, чем откровенный призыв чего-нибудь дорогого, нарочитого, полупрозрачно-узорчатого.

– Ей богу, ничего не будет, – сказал я приветливо-простодушным голосом, из набора своих самых искренних голосов, – только можно я просто прикоснусь к тебе, а то мне не согреться.

– Можно, – не сразу ответила она, не оборачиваясь, как бы решая для себя, насколько можно мне доверять.

Я обнял ее сзади, полускромно, полусдержанно, так что моя левая рука оказалась на ее бедре, ноги прижаты к ее ногам, а то, что распирало мои плавки, было предусмотрительно отодвинуто от ее попки... Носом же я уткнулся ей куда-то в шею, куда и задышал тихо и ровно, как человек, отходящий ко сну. От нее пахло сухим осинником, полным сыроежек, нагретой травой на скате дренажного рва, где, приглядевшись, всегда найдешь несколько земляничин. «Спи, – сказал я ей, – спи», – и она действительно через минут десять заснула, раза два дернув ногами – в непроизвольном сокращении мышц, которое можно наблюдать, например, у дремлющих собак. И вот она спала рядом со мной, в моем полуобъятии, доверившись мне, что могло говорить о самых разных ее качествах – чистоте, неопытности, и, увы, куриной слепоте. Моя рука соскользнула с ее бедра и осторожно, воровски, исследовала ее трусики – они были из толстого трикотажа, довольно свободными, производства какого-нибудь довоенного «Москвошвея», гарнитур нижнего белья наших коротконогих и широкобедрых плебейских бабушек, ходивших в них на демонстрации с транспарантами «Жить стало лучше, жить стало веселей!» Эти трусики, привет из эпохи великого перелома, действительно возбудили мое испорченное искусствоведением воображение, и чресла мои уже пели, как турбины межконтинентального лайнера, повисшего над бездной. Я приспустил эти довоенного дизайна трусики с талии, надеясь вовсе снять, для чего надо было приподнять бедра, на что я однако не решился, дабы не разбудить ее и не испортить все дело. Я изменил направление происков и обнаружил, что снизу перемычка вовсе не прилегает к объекту моего вожделения (о, коварная предусмотрительность довоенного закройщика дамского нижнего белья!) и что туда есть вполне приемлемый доступ. Правда, он был прикрыт бедрами, плотно положенными друг на дружку, как два венца деревянного сруба, но анатомическое строение моей спящей ночной гостьи скорее всего позволяло заход сзади, и я наугад поместил в область предполагаемых утех своего рыщущего зверя. Он уперся в теплый тугий смык ягодич и стал по миллиметру продвигаться вперед, увлажняя проход собственной готовностью. За пару минут он прошел первую преграду и на него дохнуло влажно-горячим субстратом маленького компактного убежища, в котором можно хотя бы на несколько минут спрятаться от всех напастей этого мира. Я стал плавно погружаться туда, удивляясь, что меня еще не застукали, и радуясь, что, похоже, я

здесь не первопроходец, и если мне и придется потом отвечать, то, по крайней мере, не по гамбургскому счету.

Вдруг с каким-то сонным всхлипом втягиваемой слюны и бормотанием, увенчанным крючком вопроса, на который был рыбкой нанизан ужас, она гибко взвилась, села, пьяная от сна, в постели и сказала неверными губами: «Что вы делаете?» И тут я без слов опрокинул ее навзничь, навалился сверху, ерзая своим зверем по ее голому животу, дабы пробудить в ней ответное желание, накрыл своим ртом ее рот.

– Что вы делаете, вы же мне обещали? – твердила она между моими назойливыми поцелуями. Впрочем, рот у нее был с каким-то грубоватым брюквенным привкусом, и я чувствовал, что начинаю проигрывать. К тому же у нее были сильные руки, а еще сильнее бедра и, встретив столь яростное сопротивление, я и вовсе обмяк, поскольку не обладал темпераментом насильника, и весьма нуждался в партнерской поддержке. Утратив готовность, я посчитал глупым продолжать атаку и, разом выпустив Надю, перевернулся на спину и, глядя в темный потолок, тихо засмеялся:

– Прости меня, это была шутка.

– Грубо вы шутите, – сказала она в темноте. – Я от вас такого не ожидала. Культурный человек...

Странно, но в голосе ее я не услышал ни укоризны, ни возмущения, будто ее не устраивала не суть происходившего, а лишь форма его.

– Вы всегда так шутите с незнакомыми девушками? – продолжала она, укрепляя меня в моем предположении.

– Я считал, что мы знакомы, – ответил я, чувствуя, себя, признаться, в этот момент полным идиотом и, что называется, одним чохом пересматривая все свои наработки на ее счет, созданные в той системе ценностей, из которой, Надя, видимо по своей оригинальности выпадала. Мы ведь не только жизни приписываем свои мысли о ней, но делаем то же самое и в адрес других людей, вступая таким образом в порочный круг отношений не с ними, на нас непохожими, а с собственным «альтер эго».

Она молчала, словно ожидая услышать от меня более весомые аргументы во оправдание моей предприимчивости, и я сказал:

– Мы ведь встретились не просто так... – Знал бы я, насколько это истинно, не стал бы искать судьбу.

И вдруг, повернувшись ко мне, она протянула ко мне руку и робко провела пальцами по моему виску, по моим волосам – жест прощения... Или?

Я понял его по-своему – я и не мог понять иначе, ибо затрепетал от этой какой-то сиротской робости и мое естество со стоном хлынувших в него сил, выгнулось и закачалось в боевой готовности. Впрочем, мне хватило сдержанной предусмотрительности нежно привлечь Надю к себе, замереть вместе с ней в подготовительной позе из Камасутры и только уж потом плавно опустить на постель. Я снова стал целовать ее. Но на этот раз медленно, проникновенно, словно, все плотнее присасываясь губами к ее губам и просовывая язык в пещерку ее по-цыплячь раскрытого рта, отдающего брюквой, – запах этот казался мне теперь восхитительным и кружил голову. Поцелуй сделал свое дело, или не поцелуй, а ласка, которая, как понял, должна была быть именно такой – медлительно язвящей, как кончик лепестка, буравящий почву, как почка, что, медленно набухнув, выходит на свет, неся на своих плечах кожистые лоскуты стеснявшей ее упаковки.

О, чудо! Надя отвечала мне языком, толкающимся в мой, она ухватила кончиками пальцев за мои плечи, словно боялась, что без меня уплывет слишком далеко, – обнимая ее правой рукой, я запустил левую ей под майку и стал оглаживать ее небольшие крепкие грудки, с маленькими и тугими, как брусничины, сосками, – она стала часто дышать, чуть озвучивая дыхание монотонной

гласной, ближе всего к «у», и тогда я, уже победителем привстав над ней и не скрывая своего зверя, тараном уставившегося в ее воротца, потянул с нее трусики. Но она сказала: «Нет». И это было действительно так, поскольку что бы я ни делал, как бы ни целовал ее, при том, что она мне готовно отвечала, стоило мне подобраться к заветной цели, как Надя смыкала ноги и говорила «нет».

– Ты, что, больна? – спросил я ее наконец.

– Нет, – сказала она, – я здорова.

– Ты боишься, что тебе будет больно?

– Мне не больно, – сказала она.

– Тогда почему?

– Потому что от этого бывают дети.

– Ты делала аборт?

– Да, давно. Мне было шестнадцать лет. И врачи сказали: Еще один аборт и у меня никогда не будет детей.

– Не волнуйся, – сказал я. – Гарантирую, что никакой беременности. Я же опытный. Даже женат был...

Сам не ожидал, что прибегу к такому аргументу. Но на нее это не произвело впечатления, и я опять услышал «нет».

– Что, совсем нет? – спросил я. – Ты вообще ни с кем не спишь?

– Не сплю.

– Готовишь себя для мужа?

– Да.

– Я буду твоим мужем.

– Вы обманете, – сказала она.

– А если не обману? – сказал я.

Это мое жалкое «если» она даже не удостоила ответом. И вот что удивительно – она принимала мои ласки, явно испытывая страсть, все ее тело трепетало от возбуждения, но путь туда, куда я больше всего стремился, – рукой ли, губами, не говоря уже о главном моем оружии, путь туда мне был заказан. К середине ночи я все же избавил Надю от трусишек и подобрал пальцем ее лонную каплю, уже проложившую довольно долгую дорожку по нежной, внутренней стороне ее бедра. Эта капля разгорячила мой уже опадающий позыв, и, сделав еще один решительный рывок, я вдруг оказался между Надиных раскрытых ног, которые она, утратив бдительность, не успела сомкнуть. В следующий миг, удерживая ее распахнутые ноги руками, я притиснул ее к спинке кровати, наугад, вслепую протаранил створки ее ворот и, оказавшись в ее горячей купели, почти сразу же, едва сделав несколько движений, разрядил переполнявший меня экстаз – вопреки обещанному излив его внутри до конца, вместо того чтобы наградить им какую-нибудь частицу ее тела – пупок, кудель лобка, ложбинку между грудями или более манкую – между ягодицами, а то и пещерку ее рта, возжелай она разрешить мои мучения именно таким начисто снимающим проблему деторождения способом (дабы не спугнуть, не оттолкнуть, сам я боялся инициировать подобное). Изливаясь внутри нее, я помнил, что делать этого нельзя, но я уже не мог управлять собой, – теперь же, когда я лежал на ней и в ней, молча, и когда она безусловно чувствовала у себя внутри вязкую струйку моего вероломства, она тем не менее не выказывала никакого желания панически бежать и подмываться, не было в ней ни отчаяния, ни

беспокойства, она лежала, как бы даже удовлетворившись мною содеянным, лежала по наблюдениям моим хоть и не испытыв оргазма, но умиротворено и дружелюбно, как исполнившая свой долг верная подруга жизни. Это, наверное, от истеричности, – подумал я, – таков ее путь к соитию. Потом я подумал, что все же она могла кончить, просто скрыла это как собственную слабость. Во мне же было одно огромное сокрушительное опустошение – хотелось спать, хотелось быть одному, там на веранде. Вздыхнув, я встал и с видом человека, который жертвует своим интересом ради комфорта ближнего, направился к себе.

– Почему вы уходите? – приподнявшись на локте, спросила меня моя новая подруга.

– Потому что я снова начну к тебе приставать, – соврал я, как если бы мы вовсе не были близки только что, и в силе мое предыдущее обещание, – как если бы я был Тристаном, положившим меч между собой и Изольдой.

На это она ничего не ответила. Я вернулся на веранду и лег, закутавшись в холодное остывшее одеяло. За стеклом в отдаленном свете электрической лампочки, шедшим то ли с дороги, то ли с соседнего участка, сквозили облетевшие ветви сада, и их неясные шевелящиеся тени на стене над моей головой создавали образ тревоги. Или даже не тревоги – просто на сердце лег камень, небольшой такой, но все же тянущий вниз гладыш. Мерещились какие-то бедки или даже беды.

Утром я не пошел ее провожать – вернее, я не проснулся, когда она уходила. Она не стала меня будить – просто ушла, как уходят навсегда. Ни записки, ничего. Белье, на котором я ее распял, было аккуратно сложено стопочкой, и, с болезненным любопытством развернув простыню, я нашел на ней несколько пятен нашего греха. От Нади у меня не осталось ни адреса, ни телефона.

Я не пытался ее найти – она сама напомнила о себе, двадцать лет спустя. Вернее, не она, а... Короче, однажды в моей квартире раздался междугородний телефонный звонок, я взял трубку и молодой мужской с едва уловимым акцентом провинциала голос осведомился, не я ли такой-то – он назвал меня по имени и отчеству. Я подтвердил, после чего услышал: «А вы не помните Надю из Загорска?» Именно так это и прозвучало: «Надю из Загорска».

Естественно, я помнил.

«Она умерла, – сказал ровный вежливый голос. – У нее был рак. Она попросила, чтобы я вам позвонил. Я просто выполняю ее просьбу».

Горло мне сжало, я хотел спросить: «Вы мой сын?», но не успел – в трубке раздалась гудки.

2004